

**Турнье Мишель**

**Лесной царь**

**Москва**  
**«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Т88

Т88      **Турнье Мишель**  
Лесной царь / Турнье Мишель – М.: Книга по Требованию, 2024. – 230 с.

**ISBN 978-5-4241-2817-2**

«Лесной царь» – второй роман Мишеля Турнье, одного из самых ярких французских писателей второй половины XX века. Сюжет романа основан на древнегерманских легендах о Лесном царе, похитителе и убийце детей. Использование «мифологического» ракурса позволяет автору глубоко исследовать феномен и магическую природу фашизма. Роман упрочил славу Турнье и был удостоен Гонкуровской премии. В 1996 году по роману был поставлен фильм, главную роль в котором исполнил Джон Малкович.

**ISBN 978-5-4241-2817-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2024  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2024  
© Турнье Мишель, 2024

**Турнье Мишель**

**Лесной царь**

**Москва**  
**«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Т88

Т88 **Турнье Мишель**  
Лесной царь / Турнье Мишель – М.: Книга по Требованию, 2024. – 228 с.

**ISBN 978-5-4241-2817-2**

«Лесной царь» – второй роман Мишеля Турнье, одного из самых ярких французских писателей второй половины XX века. Сюжет романа основан на древнегерманских легендах о Лесном царе, похитителе и убийце детей. Использование «мифологического» ракурса позволяет автору глубоко исследовать феномен и магическую природу фашизма. Роман упрочил славу Турнье и был удостоен Гонкуровской премии. В 1996 году по роману был поставлен фильм, главную роль в котором исполнил Джон Малкович.

**ISBN 978-5-4241-2817-2**

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2024  
© Турнье Мишель, 2024

Мишель ТУРНЬЕ  
ЛЕСНОЙ ЦАРЬ



# I. МРАЧНЫЕ ЗАПИСКИ АВЕЛЯ ТИФФОЖА

*Стоит повнимательней взглянуться  
в любой предмет, и ты обнаружишь в  
нем немало интересного.*

*Гюстав Флобер*

3 января 1938. Рашель иногда называла меня людоедом. Ну что ж, Людоед, так Людоед. По крайней мере, если речь идет о сказочном монстре, явившемся из тьмы веков. Я ощущаю в своей натуре глубинную причастность волшебству.

А также и то, что явился я из тьмы веков. Меня всегда поражало человеческое легкомыслие: уж так люди тревожатся, что с ними станет после смерти, при том, что им глубоко наплевать на события, произошедшие с ними до рождения. А ведь дожизненное существование не менее важно, чем послежизненное, и, к тому же, не исключено, таит к нему разгадку. Мое-то дожизненное состояние длилось тысячетелетие, да какое — сотню тысячелетий. Когда земля еще была всего лишь огненным шаром, волчком, крутившимся в жидким гелии, мой дух заставлял ее полыхать жаром и вращаться. Именно невероятная древность происхождения и есть исток моего всемогущества: я и бытие столь давно сосуществуем, столь уже друг с другом смыклись, что, и не пылая взаимной страстью, в силу одной привычки, сразу понимаем друг друга и не способны ни в чем отказать.

А монстр...

Что это, собственно, такое? Если обратиться к этимологии, нас ожидает потрясающее открытие: слово «монстр» происходит от глагола «демонстрировать». То есть, это диковинка, которую выставляют на всеобщее обозрение, к примеру, на ярмарке. Таким образом существо тем более чудовищно, чем оно более диковинно. Вот что ужасно. Я вынужден таиться от своих близких, чтобы те не выставили меня на позорище.

Чтобы не считаться чудовищем, следует быть как можно ближе по естеству к этим самым близким, а лучше — копией своих родителей. Ну, или уж, на худой конец, породить потомков, которым доведется положить начало новой популяции. Увы, чудовища не размножаются, семиногая телушка не даст приплода. Лошаки и мулы рождаются бесплодными оттого, что природа не терпит насилия над собой. Чудовище всегда ниоткуда — лишено и предков и потомков. Я стар, как мир, и вечен, как он. Своим якобы родителям я могу быть только усыновленным ребенком, как и сам способен приобрести детей лишь тем же путем.

Перечитал написанное. Вообще-то меня зовут Авель Тиффож. Я владелец гаража на площади Порт-де-Терн и, уверяю вас, вовсе не псих. Однако к вышесказанному стоит отнести со всей серьезностью. Почему? Потому что дальнейшее повествование как раз и призвано продемонстрировать, или, точнее — проиллюстрировать нешуточность моих утверждений.

6 января 1938.

Во влажном небе мигнул неоном крылатый конь Мобильгаса, отбросил блик мне на руки и тотчас потух. Эти красноватые вспышки да еще запах прогорклого масла, пропитавший окрестности, и создают то окружение, которое я ненавижу, но, к своему стыду, и обожаю. Мало сказать, что я к нему привык, оно для

меня столь же родное, как собственная теплая постель или физиономия, которую я каждое утро лицезрею в зеркале. Но если я, уже во второй раз, зажав перо в левой руке, мараю чистый лист, начав третью страницу своих мрачных записок, то исключительно потому, что нахожусь, как говорится, на жизненном переломе. И почти уверен, что эти записи помогут мне избавиться и от забот о гараже, да и вообще от всех житейских забот, то есть, в каком-то смысле, от самого себя.

Мир состоит из сплошных знаков. Но лишь яркая вспышка или истошный крик способны пробиться сквозь нашу близорукость и тугоухость. Еще в колледже Святого Христофора, где мне довелось постигать азы наук, я постоянно пытался расшифровать иероглифы, встречавшиеся на моем пути, расслышать неясный шепот, достигавший моих ушей. Все бестолку — я не проникал в смысл, а лишь укреплялся в сомнениях в правильности своей жизни. Но, признаться, и в уверенности, что небеса не вовсе пусты. И вот вчера вспыхнул свет, разгоревшийся от искры, высеченной из, казалось бы, самого заурядного события. Он и озарил мой путь.

Так случилось, что я на время потерял способность пользоваться правой рукой. Вооружившись гаечным ключом, я пытался отвернуть гайки в навек заглохшем моторе. Очередной поворот оказался роковым. Мне еще повезло, что рука и плечо были расслаблены. В результате пострадала только кисть — но зато как! Я словно услышал треск рвущихся сухожилий. В тот миг от жуткой боли мне чуть желудок не вывернуло наизнанку. Она и сейчас пульсирует под укутавшей кисть массивной шиной. А с одной рукой какой из меня работник? Вот я и нашел пристанище в клетушке над гаражом, где свалены расходные книги и старые газеты. В этом убежище я решил, от нечего делать, исчиркать своей уцелевшей рукой сколько выйдет листков отрывного блокнота.

Для начала я сделал открытие, что умею писать левой рукой! Так вот, прямо сразу, без всякой тренировки, рука принялась уверенно и бойко выводить букву за буквой, притом вполне четко. Правда, их начертание было несколько необычным, каким-то чужеродным, слегка вычурным, по крайней мере, нисколько не напоминающим мой прежний, праворукий почерк. Я еще вернусь к этому удивительному явлению, причину которого, мне кажется, я постиг. Однако начать следует с обстоятельств, толкнувших меня взяться за перо с единственной целью — излить душу, одновременно явив истину.

Не уверен, стоит ли вообще поминать второе обстоятельство, возможно, еще решительней, чем первое, подтолкнувшее меня к писанию. Я говорю о разрыве с Рашиль. Но как тут обойтись без истории любви, точнее — моей любви к Рашиль? Придется подробно о ней рассказать, как бы мне это ни претило. Хотя последнее, может быть, только с непривычки. Для человека столь скрытного по натуре, как я, размазывать свои кишки по чистым листам просто омерзительное занятие. Но только поначалу. Стоит руке разогнаться и, кажется, уже ничто не в силах ее удержать, пока не изольешься на бумагу до капельки. Возможно даже, что отныне ни единое событие моей жизни не покажется мне истинно произошедшим, если оно не нашло отражения на листках дневника.

Я потерял Рашиль. Она была моей женой. Нет, не законной супругой перед Богом и людьми, но женщиной моей жизни. Можно даже сказать, — да не прозвучит это напыщенно, — женским началом моей личной вселенной. Сперва, и довольно долго, я не принимал ее всерьез. Помню, как Рашиль впервые подкати-

ла на своем утлом, потрепанном «пежо». Чувствовалось, что ей льстит почтение, которое в ту пору вызывала женщина за рулем. Как с соратником по автомобилизму, она сразу приняла со мной свойскую манеру, которая столь быстро распространилась на все наши отношения, что я не успел опомниться, как очутился с ней в постели.

Первое, что меня поразило в Рашиль, это умение держаться обнаженной. Нагота, если можно так выразиться, на ней ловко сидела, не хуже, чем дорожный костюм или вечернее платье. Грош цена женщины, если она не знает, как вести себя обнаженной, не понимает, что следует учиться не просто выносить обнаженность, но и носить ее. Подобных дам я распознаю с первого взгляда по их некоторой холодноватости. При том, что одежда у них отчего-то липнет к коже.

Маленькая головка Рашиль с птичьим носиком, обрамленная черными кудряшками, странно контрастировала с ее щедрым телом, поражавшим своими женскими статями: могучие ляжки, обильные груди с огромными фиолетовыми сосками, увесистые ягодицы. В целом все эти округлости, столь тугие, что не ушипнуть, как бы образовывали систему фортификационных сооружений. Манеру же поведения она выбрала не слишком оригинальную: изображала такую «девчонку-сорванца» — женский тип, ставший весьма распространенным после пары нашумевших романов. Дабы утвердить свою независимость, она освоила бухгалтерский учет и подвизалась как бы вольным бухгалтером, помогая кустарям-одиночкам, мелким дельцам и предпринимателям свести баланс. Сама еврейка, Рашиль, как я убедился, имела дело исключительно со соотечественниками, которые, конечно же, чужаку бы не доверились.

Могли бы меня оттолкнуть и цинизм Рашиль, и ее склонность к разрушению, и некий умственный зуд, заставлявший ее постоянно пребывать в страхе перед скукой, но чувство юмора, умение тонко подмечать смешное в человеке или ситуации, заразительная веселость, благодаря которой она умела серенькую жизнь превратить в праздник, едва ли не излечивали меня от моей природной, уже привычной желчности.

Сейчас, когда пишу эти строки, я вынужден вновь осознать, чем была для меня Рашиль, и у меня горло сжимается при попытке выговорить слова: я потерял Рашиль. Рашиль, не знаю, — любили ли мы друг друга, но сколько раз мы с тобой от души хохотали, а этого разве мало?

Именно так, в свойственной ей манере, со смешком, она отпустила шутку, которая стала посылкой, из которой мы оба, каждый сам по себе, вскоре сделали вывод, что нам пора расстаться.

Случалось, она подлетала, как ветер, бросала свою консервную банку на механика, чтобы тот что-нибудь подкрутить или просто заправил, а меня увлекала на верхний этаж с дежурной скабрезной шуточкой, что хозяйку, мол, тоже неплохо бы подзаправить. В тот день, облачаясь после «заправки», она между делом бросила, что я трахаюсь по-простецки. Поначалу я подумал, что она осудила отсутствие у меня теоретической подготовки и практического опыта. Рашиль уточнила. Она имела в виду исключительно мою торопливость: словно птичка, по ее словам, — раз, и готово. Потом она предалась сладостным воспоминаниям об одном из моих предшественников, разумеется, самом страстном из всех. Как-то он пообещал трахать ее всю ночь и честно исполнил обещанное: пахал до самого рассвета. «Правда, призналась Рашиль, легли мы поздно, а ночи

в ту пору были короткие».

В ответ я ей напомнил сказку про козочку господина Сегэна, которая почла делом чести биться с волком всю ночь и только на рассвете позволила себя сожрать.

— Вот и представляй себе, — усмехнулась Рашиль, — что, как только ты кончишь, я тебя сожру.

И тотчас Рашиль, с ее черными бровями, раздутыми ноздрями, алчными устами, и впрямь показалась мне волчицей. Мы в очередной раз посмеялись. В последний. Уж я-то понял, что ее практичный умишко вольного бухгалтера успел оценить мои возможности, — разумеется весьма невысоко, и теперь изыскивает очередную койку.

По-простецки... Этот упрек полгода ворочался в глубинах моего сознания. Я-то всегда думал, что наиболее распространенное половое расстройство это как раз *ejaculatio pre-cox*, проще говоря — неспособность кончить, затяжка полового акта. Рашиль, однако, обвинила меня в прямо противоположном, тем выразив исконный конфликт между сексуальными партнерами — женщины ненасытны, им бы хотелось, чтобы половой акт длился бесконечно. Иначе они остро переживают свою ущемленность.

— Тебе наплевать, получу ли я удовольствие!

Вынужден это признать. Когда я наваливался на Рашиль всем телом, чтобы ею овладеть, меня меньше всего заботило, что там творится под закрытыми веками в этой миниатюрной головке еврейского пастуха.

— Полакомился свежим мясцом и полетел к своим железякам!

Опять чистая правда, как и то, что, утоляя голод ломтем хлеба, мы равно не заботимся ни о собственном удовольствии, ни о том, чтобы доставить его поглощающей пище. — Ты лопаешь меня, как бифштекс.

Возможно. По крайней мере, если безоговорочно принять расхожее представление о том, что есть «настоящий мужчина». Это чисто женская придумка, превратившая ее беззащитность в грозное оружие. Начать с того, что в уподоблении полового акта приему пищи нет ничего унижающего — к подобной символике прибегают многие религии, прежде всего христианство с его причастием. Однако представление о «настоящем мужчине», — повторяю, чисто женское, — достойно пристального внимания. Согласно ему, мужественность измеряется половой потенцией, а последняя выражается в умении подольше затянуть половой акт. То есть, требуется самоотречение. Значит, потенцию здесь следует понимать в аристотелевом смысле — как противоположность акту. Таким образом, половая потенция как бы отрицает половой акт. Она лишь обещание акта: не слишком надежное, не всегда исполняемое уклонение, стремление оттянуть развязку. Выходит, что мужчина действительно бессилен, и впрямь беспомощен перед медленно, как цветок, распускающейся страстью женщины, разве что он пойдет у нее на поводу, забыв о себе, будет вкалывать, как проклятый, чтобы высечь хоть искорку радости из бесчувственной плоти, которая якобы предоставлена его власти.

— Ты не любовник, ты — людоед.

О, летние каникулы, о, замки! Стоило Рашиль бросить эту фразу, как в моем сознании возник и тотчас завладел моей памятью образ маленького чудовища, одновременно и развитого не по годам, и не по возрасту инфантильного. Нестор.

Я всегда предчувствовал, что он опять ворвется в мою жизнь. Собственно, он никогда ее не покидал, но после своей смерти и не слишком донимал меня. Так, юркой обезьянкой мелькнет там, сям, нет-нет, да и напомнит о себе. Уход Рашель и начало моих мрачных записок возвестили мне, что он снова берет надо мной власть.

*10 января 1938.*

Не так давно я разглядывал фотографии нашего класса. Те, что делают в июне, прямо перед распределением наград. Среди запечатленных там бандитских рожиц моя — самая несчастная и бледная. Я отыскал на фото Шамдавуана и Лютинье. Один, с по-дурацки подстриженной клоунской шевелюрой, строит гримасы; другой, с хитрым лицом, прикрыл глаза и, видимо, затаившись под покровом век, изобретает очередную проказу. Нестора же нет как нет, хотя тогда он еще несомненно был жив. А в общем-то, почему удивляться? Как раз очень в его духе смыться с церемонии награждения. Дело даже не в том, что она слегка смешновата. Главное для него было не замарать свою короткую жизнь обыденностью.

Мне уже исполнилось одиннадцать, я перешел во второй класс и теперь не чувствовал себя новичком в школе Святого Христофора. Прежде я был чужаком, терялся в непривычной обстановке, но и потом моя тоска не исчезла бесследно, напротив — затаившись под личиной спокойствия, она стала еще глубже, еще острее и словно бы безысходнее. В ту пору, помнится, я вел список всех своих невзгод и не ждал от жизни ничего хорошего. Я в грош не ставил учителей, а заодно и весь мир знаний, к которому они пытались нас приобщить. Меня просто тошило от той духовной жвачки, которой нас потчевали взрослые. Вызывали омерзение — не до сих пор ли? — все писатели вместе с их произведениями, все исторические деятели, деяния которых мы изучали, все до единого учебные предметы. Лишь по крохам, роясь в энциклопедиях, даже, случалось, листая школьные учебники по истории, французскому, я отыскивал наущенное и из этих крупц творил маргинальную культуру, собственный пантеон, где Алькивиад соседствовал с Понтием Пилатом, Калигула с Адрианом, Фридрих-Вильгельм I с Баррасом, Талей-ран с Распутиным. Когда о писателе или политике говорили каким-то особым тоном, — разумеется, осуждающим, но еще и особенным, — я тотчас навострял уши: вдруг да он мне подойдет. Не откладывая в долгий ящик, я предпринимал добросовестнейшее расследование, в результате которого мой пантеон пополнялся или нет.

Тогда я был тщедушным некрасивым пареньком, с гладкими черными волосами, обрамлявшими смуглое лицо, оттого чуть смахивающим на араба или цыгана; с неуклюжим костлявым телом, с неуверенными, неловкими движениями. Но и еще был во мне какой-то роковой ущерб, будивший стремление поиздеваться надо мной даже у самых трусливых, желание меня отгупить даже у самых хилых. Они сразу чуяли, что им нежданно привалила удача над кем-то покуражиться, кого-то унизить. Стоило начаться перемене, как я оказывался поверженным наземь, и мне редко удавалось обрести вертикальное положение раньше звонка на урок.

Пельсенер был новичком в колледже, но крепкие мускулы и незамысловатость душевного устройства позволили ему сразу занять достойное место в классной иерархии. Последнему немало поспособствовал и несусветной ширины ре-

мень, — со временем я сообразил, что ему довелось побывать конской подпругой, — со стальной пряжкой на три шпенька, опоясывавший форменную блузу. Когда этот крутолобый паренек, с непокорными светлыми лохмами, правильным невыразительным лицом, твердым взглядом прозрачных глаз, заткнув большие пальцы за ремень, приближался к стайкам одноклассников, он умел заставить с шиком поскрипывать свои подбитые гвоздями чоботы, которые, если очень постараться, могли даже высекать искры из брускатки школьного двора. Пельсенер был чист душой, беззлобен, но и как бы беззащитен перед вторжением зла в душу. Как туземцы Океании умирали от безопасного для европейца вируса, так и он, стоило мне приоткрыть ему свои душевые бездны, тотчас исполнился злобы, жестокости и ненависти.

В школе вдруг распространилась мода на татуировки. Один экстерн приторговывал тушью и особыми перьями, позволявшими наносить рисунок, не поранив кожи. Мы часами выводили на ладонях, запястьях, ляжках буковки, всякие дурацкие словечки и рисуночки, вроде тех, которыми испещрены стены домов и сортиров.

Разумеется, и Пельсенер не остался равнодушным к всеобщему увлечению, но, видимо, ему не хватало воображения и сноровки, что, бы изобразить нечто достойное его высокого, положения. По крайней мере, он сразу оживился, когда я, будто между делом, показал ему листок, где, постаравшись от души, запечатлел пронзенное стрелой, буквально истекающее кровью сердце, обрамленное надписью: «Я твой до гроба». Совсем добил я Пельсенера утверждением, что сей шедевр уже украшает грудь знакомого унтера Иностранного легиона. После чего предложил изобразить эту красотищу на его левой ляжке, причем, с внутренней стороны: в глаза не бросается, но если захочешь показать, — всегда пожалуйста.

На операцию ушли все вечерние занятия. Устроившись под партой Пельсенера, я смог целиком отдаваться работе, благодаря чувству товарищества одноклассников, заслонявших меня своими телами, учебниками и портфелями от бдительности надзирателя. Это был адовый труд — расплещенная сидением ляжка почти не оставляла простора для творчества.

Пельсенер, однако, остался весьма доволен результатом, но и слегка удивлен, что предпосланный пронзенному стрелой сердцу девиз гласил: «Я т. до гроба», притом, что «я» смахивало на «а». Не сморгнув глазом, я объяснил, что легионеры употребляют подобное сокращение с двойным прицелом: с одной стороны клянутся возлюбленной, с другой — восстают против Бога (мол, они до конца жизни будут атеистами). Навряд ли Пельсенер понял мои сумбурные разъяснения, но казалось, они его удовлетворили.

Однако лишь на сутки. Во время вечерней перемены Пельсенер отвел меня в сторонку с выражением лица, не предвещавшим ничего доброго. Наверняка кто-то успел его надоумить, так как он с места в карьер обрушился на меня из-за того таинственного сокращения.

— А. Т. — буркнул Пельсенер, — твои инициалы. Ну-ка, стирай свою писанину!

Полностью изобличенный, я решился сыграть ва-банк, осуществить то, о чем так давно и страстно мечтал. Я подошел к Пельсенеру, положил ладони ему на бедра и медленно, вкрадчиво скользя по его знаменитой подпруге, сцепил их за